

Ильда Эренбург

ВНЕ ПЕРЕМИРИЯ

УДК 82(07) Эренбург, И. В. 1934

И л ь я Э р е н б у р г

ВНЕ ПЕРЕМИРИЯ

С Б О Р Н И К Р А С С К А З О В

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Москва 1937

Обложка и титул
П. А. Масляненко

1

На платформе плакала женщина. Солдат растерянно прижимал к груди бутылку. Потом зашатались пальто на крюках, дома дрогнули и смешались. Ни меня, ни Вилли никто не провожал. Безразлично я оглядел соседей. Старик уже успел задремать, он раскрыл круглый беззубый рот. Дама вытащила вязанье. Я развернул газету; это было связано со скрипом тормозов, с подушками, полными едкой пыли, с обрывками мыслей: „не успел повидать Макса, как только приеду, надо позвонить Демо...“ Среди „сборной парижской“, среди гангстеров и конференций металась история: забастовки, протесты, трупы, нестройные, неуверенные дожди, несколько

капель на разогретом асфальте. Таким казалось мне время.

Я ехал в Брюссель, Вилли кружным путем пробирался в Германию. Он сидел рядом; я видел разгоряченный и недоуменный его глаз. О чем он думал? Я знал, что в партии его ценят, как хорошего подпольного работника. Незадолго до отъезда я увидел его на террасе большого кафе. Он сидел, закрыв глаза: он грелся на солнце, как ящерица.

Я случайно взглянул в окно. То, что я увидел не входило в мой мир. Между Максом и Демо должны были длиться дома, с гребешками дымоходов, с ковриками у дверей, с режущими глаза электрическими лампами. Я увидел коров. Это было в тишине начинающегося вечера. Некоторые, зарыв морды в душистую зелень, дремали. Другие глядели на меня в упор. Я подумал: «почему нельзя дернуть рукоятку тормоза и с головой зарыться в траву?» Я увидел также деревья. Это были густые вязы. В тени, которую они отбрасывали, в неподвижности листвы, в ее синеве было такое спокойствие, что я

поспешил заслониться газетами, синими и призрачными, как дым поезда.

Двадцать лет назад, в осенний, до неприязненности ясный день я бродил здесь с молодой женщиной. Она разыскивала могилу мужа, убитого осенью четырнадцатого года. Сколоченные наспех кресты были сдавлены колосьями. „Просьба не топтать хлеба“. Женщине было девятнадцать лет; когда она подносила к близоруким глазам клочок бумаги с планом местности, ее розоватые холодные пальцы дрожали. Я проклял про себя скаредность крестьян: я тогда еще не знал, как можно жить под одной крышей с историей.

Старик и дама сошли в Сан-Кентене. Теперь мы могли говорить. Вилли повторял: „Необходимо обратить внимание на спортивные организации, не то они захватят молодых...“ Слово „они“ он произносил особенно отчетливо. Я заметил, что рукав его рубашки был тщательно заштопан. Я вдруг подумал, что ничего не знаю о жизни Вилли. Показывая кондуктору билет, он обронил карточку. Я увидел маленькое круглое существо,

похожее на мыльную пену. Он сказал: „Документы у меня хорошие. А если схватят...“

Мы расстались в Брюсселе. Нелепо махнув рукой, он пропал в черном пассаже. Газетчики кричали: „Английская нота!..“ В лиловых трубках световых реклам билась отравленная венозная кровь любимого века.

Вилли дал мне адрес своей жены, она жила в предместьи Парижа. Я обещал занести ей советские журналы: она работала над книгой о нефти. Журналов у меня не оказалось, пришлось выписать из Москвы. Я попал к Люци (так звали жену Вилли) месяца два спустя.

Мне открыла дверь светлоглазая девочка. „Здесь живет госпожа Керц?“ Она ответила: „Это я“. Мне показалось, что она не понимает по-французски. Я знал, что у Вилли сын. Можно ли было принять за мать этого робкого нескладного подростка? Проблемы нефти никак не вязались с носками, с передником, замаранным смородиной, с губами, еще припухшими и дрожавшими от стеснения. Она заговорила о крекинге. Вдруг она посмотрела на часы, вздрогнула и сказала: „Простите“, — ей надо кормить ребенка. Она села

на табурет и как-то сразу переменялась. Теперь она казалась мне большой и невозмутимой. Черты лица упростились и затвердели. Я сидел отвернувшись. Ее спокойствие меня стесняло. Потом мы говорили о наливных судах. Уходя я сказал: „С Вилли мы распрощались в Брюсселе. Он был веселый“. Она ничего не ответила.

Я шел от нее смутный и растерянный. Жизнь вокруг была чересчур настойчива. Женщина несла чашку молока, полную до краев. Чтобы не расплескать молоко, она слегка покачивалась. Старый рабочий сидел на соломенном стуле. Он не двигался. Он казался кустом, который вырос среди жаровень, кофейников и фонарей. Дети прыгали через веревочку. Их голоса в вечерней тишине были пронзительны до боли. Из окон доносились запах еды, смех, обрывки хриплой дешевой музыки. Душистый горошек на ручной тележке, среди камней, от которых шел зной, стремительно умирал. Оборванец, сидя на мостовой, чесал раскрытую грудь и ругался. Солдат целовал девушку; приподнявшись на цыпочки, она подставляла ему

губы и горестно смеялась. Потом заметались огни, дома выросли, люди обступили меня вплотную: это был Париж.

Прошло несколько дней. Я столкнулся с рыжим Карлом на улице. Он сразу сказал мне: „Вилли схватили в Дессау. Он пробовал убежать, сломал ногу. Они его пытали...“ „Они“ — я вспомнил, как говорил это слово Вилли. Я вспомнил также заштопанный рукав рубашки. „Теперь поедет Сасниц, он хороший организатор...“ Я не слушал Карла. Передо мной была девочка с лицом восточного истукана. Она кормила сына Вилли. Я сказал: „Я видел его жену дней пять назад...“ Карл ответил: „Люци давно знает. Разве она не сказала тебе?“ Он вспрыгнул на площадку автобуса. Его зеленоватое лицо задрожало, как в ознобе.

2

Развалины храма казались каменной растительностью; здесь были стволы, купы, корни. Белый зной выедал глаза. Только ящерицы не отступали перед этим приступом полдня. Старый сторож уныло бормотал: „Тут она пригуляла Энея. Хромой, разозлясь, плевался огнем. Все-таки он выковал бастриюку меч и щит...“ Помолчав, сторож добавил: „Мало туристов, а на фабрике дела дрянь“. Он раскрыл обожженную грудь, которая поросла длинными белыми волосами и лег возле алтаря Гефеста.

Внизу вздыхало море. Этот постоянный шум напоминал о времени. Я просидел часа два или три, тупо пытаюсь понять жизнь. Я

не мог вспомнить ни встреч, ни страстей; только где-то вдали проступало детство, зеленое и сырое, как частый лес: дача на Клязьме, запах грибов и левкоя.

Я обошел город. Мясники в черных фартуках сгоняли больших звонких мух, облепавших бараньи туши. Ругаясь, кузнец раздувал меха. Я вспомнил рассказ сторожа о ревнивом боге. На ослах были бирюзовые ожерелья. Кувшины горшечников казались найденными при раскопках. Я зашел в церковь. Блестала древняя мозаика и Христос, вращая огромными расплавленными глазами, летел с купола в гниль крипто. Краснолицый дородный поп набирал воду. Потом он поставил ведро на землю и обдал меня ароматом чеснока: „Здесь Юстиниан, покорив нечестивцев, омыл свои ноги“. Он показал на тонкую нитку высохшего ручья, плюнул и потребовал двадцать драхм. Зажав бумажку в грязную потную руку, он пошел в соседний кабаk. Вино пахло дегтем, и кровь от него еще громче стучала в висках.

Рядом с попом сидел молодой рабочий. Хозяин звал его Костой. Он бережно сжи-

мал в руках запотевший стакан с холодной водой. Развернув газету, он стал читать вслух: „Конфликт существует не между формой и содержанием вообще, а между старой формой и новым содержанием...» Хозяин спросил: „Это кто придумал?“ Коста хитро прищурил один глаз и поднес палец к губам: „Сталин“. Поп, быстро допив вино, ушел. Я глядел, как он прыгал по камням, придерживая рукой полы развевавшейся рясы. Хозяин сказал Косте: „Если ты будешь говорить такие слова, тебя убьют“. Коста рассмеялся.

Фабрикант Критос раскладывал пасьянс. У него была вставная челюсть и когда он смеялся, его зубы ходили слева направо. Он сказал мне: „Итальянцы не берут больше второй сорт, англичане подняли пошлины вдвое, а у греков нет денег на папиросы. Я должен понизить все ставки“. На стенах висели фотографии с видами Парижа и большой портрет английской королевы. Критос завел граммофон. В зал ворвался грохот джаза. Критос улыбнулся и его челюсть закачалась в такт музыке.

Четыре дня спустя рабочие Критоса забав-

ставали. Они заняли фабрику и вывесили на чердаке флаг. Триста шестьдесят восемь рабочих и семьдесят работниц сидели среди табачной пыли и замолкших машин. Вокруг фабрики день и ночь стояли женщины. Иногда из окон спускались корзины. Женщины клали в них хлеба, овечий сыр и бледно-розовые луковицы. Критос говорил: „Пусть сидят“, — он верил в силу времени.

На шестнадцатый день упаковщица Василиса, которая вместе с другими работницами сидела на фабрике, разрешилась от бремени. Ночью женщины слышали крик, а утром Коста, высунувшись из верхнего окна, показал им новорожденного. Красные ноги младенца двигались, как клешни и, глядя на них, Коста смеялся.

На двадцать четвертый день Критос вызвал к телефону губернатора. Фабрику взяли с боя. Рабочие швыряли из окон железные бруски. Женщины с растрепавшимися волосами стояли у дверей цеха. Мать новорожденного кричала: „Стой!“ Ее волокли по чугунной лестнице и она билась, как огромная рыба. Офицер скомандовал: „Снять флаг“.

На чердаке стоял Коста. Пять минут спустя возле ворот валялся клок коленкора. Косту несли два солдата. Из его рта текла яркая кровь.

Это было утром. После обеда сторож уныло рассказывал приезжим: „Здесь он потащил ее под землю, но старуха Деметра начала ругаться...“

Я видел мать Косты. Она сидела одна на мраморной скамье, глядя прямо перед собой. Слезы прорыли на ее сожженном лице глубокие колеи. Вокруг были розовые горы с белыми пятнами овец. Свежая могила пахла землей.

3

Я жил в большой гостинице. Ночью у всех дверей стояли ботинки. Они хранили форму ноги: упрямые полуботинки спортсменов, туфли старых дев, разношенные штиблеты циников. Я знал не людей — обувь. Вспыхивали сигнальные лампочки, красные и зеленые. За двойными дверьми кто-то задыхался от астмы. Утром подавали яичницу. На тарелках дрожали сотни оранжевых дисков. В вестибюле было душно, как под землей. Продавали сигары, галстуки, пудру. Крохотные группы до одурения выкрикивали: „Шесть — три — один“, „три — восемь — шесть“ — это были номера комнат. У входа в гостиницу останавливались автобусы. Их цифры рябили

в глазах. Лондон, горячий и сырой, обступал меня, как туман.

Я ходил по записанным адресам. Меня любезно выслушивали. Я знал, что эти люди — враги, и все же я им улыбался. Потом я часами бродил по улицам. Громоздкие лакеи прогуливали маленьких японских собачек. Нищие на тротуарах рисовали замок и луну. Как мухи дети облепляли ведра с отбросами. В нежно-зеленых парках дремали кляузники и маклера. У меня было свое горе и я радовался, что в этом городе люди не замечают друг друга. Я написал в Москву, что я бодр и весел. Я опустил письмо в ящик. Рядом пальцы, узловатые как сучья, сжимали длинный конверт. Я успел прочитать адрес, письмо было в Австралию. На набережной Темзы спал человек, подложив кепку под голову. Свистели буксиры; потом свистнул молодой полицейский: оказалось, человек мертв. Я видел безработного шахтера. Он глотал перед зеваками куски угля. К нему подошел человек с белыми пустыми глазами. Он спросил: „Что будет потом?“ Безработный ответил: „Потом я буду собирать деньги“. Челю-

век вежливо поблагодарил и пошел дальше. На Риджен-стрит стояли проститутки. Их губы тревожно краснели сквозь частую сетку дождя. Никто с ними не заговаривал. Я привык к этому городу, я перестал вглядываться в лица людей.

С Целлером я столкнулся в душный отвратительный вечер. Я знал его по Берлину. Он писал тогда книгу о московских музеях, а по воскресеньям ходил с женой на рабочие митинги и подымал кулак. Это был щедушный тихий человек с глазами лунатика. Штурмовики долго били его шомполами. Ночью они пришли в камеру, чтобы вынести труп. Целлер вдруг зашевелился и поднял кулак. После побоев он оглох на одно ухо. В лагере возле Любека он рыл землю. Ему удалось убежать в Данию. Мне говорили, что в Лондоне он ходит по домам и продает корманные фонарики. Я крикнул: „Ну, как живешь?“ Он не ответил. Я снова крикнул: „Сегодня очень душно!“ Он поморгал и тихо выговорил: „Очень“.

Он спросил меня куда я иду. Я не знал, что ответить: я бродил без цели по длин-

ным, ненавистным мне улицам. Он попросил: „Можно с тобой?“ Мы не глядели друг на друга и никто не глядел на нас. Он нес в маленьком чемоданчике непроданные фонарики. Я заговорил о музеях. Он молчал; может быть я говорил слишком тихо. Потом он предложил: „Пойдем к Смитсу. Это хороший парень. Он обрадуется“.

Мы долго разыскивали дом, в котором жил Смитс: он походил на сотню окрестных домов, а Целлер забыл номер. Горничная привела нас в гостиную. Я рассматривал альбом с выцветшими фотографиями Ниццы. За стеной играли гаммы. Наконец, вышел Смитс. Это был плотный человек с лошадиными зубами. Он радостно крикнул Целлеру: „Халло!“ и потряс мне руку. Я сразу понял, что он нас ненавидит. Гудели мухи. Оскалив приветливо зубы, Смитс сказал: „У меня теперь много работы. В субботу я поеду к морю. А вы?“ Целлер ответил: „Я еще не знаю“.

„В кино слишком душно,— сказал Целлер, когда мы вышли на пустую горячую улицу,— зоологический сад сегодня открыт ночью“. Среди листвы неестественно блистали фо-

нари. Звери прятались в глубь клеток. Люди в смокингах судорожно зевали. Мы пошли к хищникам. Запах звериной мочи смешивался с духами. Дама с голой спиной стояла у клетки. Тигр исступленно метался. Потом он остановился и поглядел на даму желтыми сумасшедшими глазами. Дама сказала своему спутнику: „Он глуп“. Медведь сухим языком лизал железные прутья. Мне хотелось пить. Шакал, окруженный толпой, по-детски всхлипывал. Я не мог дольше вынести молчания Целлера. Мы пошли в бар.

На скамье у стены сидели грустные пьяницы. Они молча пили портер. Один из них сказал: „Эта цыпка мне не по карману“. Другие отрывисто рассмеялись. Хозяин крикнул: „Джентльмены, время закрывать!“ На улице я вытер платком мокрый лоб, платок стал черным: это дышал Лондон.

Я рассказывал Целлеру о моих делах. Он бормотал: „Да“. Я расспрашивал его о Берлине, о друзьях, о фонариках. Он отвечал коротко и невпопад. Возле моей гостиницы он остановился и взял меня за рукав. Мне показалось, что он хочет что-то сказать.

Но он ничего не сказал, постоял и пошел дальше. У входа в гостиницу я с ним простился. Он несколько раз повторил: „Запиши телефон“. Потом вдруг сказал: „Знаешь что, я переночую в гостинице“.

Как всегда визжали группы: „Четыре — восемь — один“. Дамы волочили бальные платья среди чемоданов, облепленных пестрыми наклейками. Яркие клетки лифтов взвивались вверх и стремительно падали. Я пожал руку Целлера, она была мягкой и холодной. Поднявшись к себе, я начал письмо: „Ты можешь обо мне не беспокоиться, я живу очень хорошо...“ Я выставил ботинки за дверь и до утра метался на горячей измятой простыне.

Когда я отдавал портье ключ, я увидел Целлера с чемоданчиком. Мы вышли вместе. Он сказал: „Вчера умерла жена. В больнице. Я не мог ночевать дома“.

Он вскочил в автобус и крикнул: „Тебе нужно доехать на 69 до Оксфорд-серкус!..“

4

В правлении колхоза толпились девушки, зеленоглазые и смешливые. Бородатый рябой старик изумленно почесывался. Председатель колхоза Акимов рассказывал о пчельнике.

Он сидел на скамье, подпирая рукой костистое лицо с тяжелой челюстью. У него были глаза темные и беспокойные. Я сказал: „Это испанский товарищ. Он сражался. Теперь он едет в Горловку“. Парень шепнул: „Видишь...“ Мальчонок побойчей дернул приезжего за рукав. Акимов сказал: „Вы ему переведите, что колхоз стал окончательно на ноги“.

Сильварио Фернандес остался один у пу-

лемета. Два дня он отбивал атаки. Когда легионеры заняли площадь Сан Педро, они увидели возле пулемета труп. Один из них ногой оттолкнул голову мертвого. Ночью, раненный в ногу, Сильварио дополз до леса. Он тонул в снегу и засыпал под клетот голодных коршунов. Много раз он мне рассказывал, как старая крестьянка, крестясь от страха, вынесла ему краюху хлеба. Рыбаки дали ему лодку. Были зимние бури. Четыре дня он жил смертью. Увидав, наконец, берег, он не улыбнулся. Он узнал тоску чужой земли, попрехи и то презрение, которым дышат побежденные. Весной он приехал в Москву.

Он глядел на новые дома, на витрины лавок, на девушек в майках, на охапки черемухи. Он думал о подвалах Самы, где победители пытали его товарищей. Ночью он слушал радио. Равнодушный голос повторял: „Говорит Мадрид. В стране полное спокойствие“. Громыхал джаз: в Мадриде танцевали. Сильварио растерянно оглядывался по сторонам. Потом он сказал: „Я хочу работать“. Он рвался в духоту шахт: это был его мир.

Я думал, что зелень полей его утешит. У него были слишком длинные мысли. Всю дорогу он молчал. Может быть, он видел огромные валуны, серебро расщепленных маслин, лачуги в горах, густое синее небо? Я перевел ему слова Акимова. Он сказал: „Это хорошо“. Мы долго ходили по полям. Мы рассмотрели скотный двор, пчельник, ясли. Акимов сказал: „Теперь строим клуб с эстрадой, переведите товарищу“. Сильварио качал головой и невесело улыбнулся.

Мы зашли в избу. Акимов потрепал по щеке девочку лет восьми — десяти. Он сказал женщине: „Что-то она сегодня бледная...“ Потом он обратился ко мне: „Скажите товарищу, что эта девочка колхозная, сирота, родители умерли от тифа. Вот и смотрим, чтобы росла“. Сильварио оживился, он сказал: „За это мы дрались...“ Потом он снова примолк. Я знал, что его сын остался в Астурни.

Мы вернулись в правление. Попрежнему вокруг нас толпился народ. Какой-то парень сказал: „Надо его спросить, как наш колхоз, если сравнить с другими...“ Старая женщина

вдруг прикрикнула: „Погоди! Не видишь, что человек скучает?“

Это была Коренева, мать Миши Коренева, которого в девятнадцатом году расстреляли белые. У нее было лицо, покрытое тысячами мельчайших морщин. Голова ее была повязана черным платком. Она стояла напротив Сильварио. Потом она ушла. Она вернулась с чашкой теплого молока. Она тихо подошла к Сильварио, сжимая чашку обеими руками, поставила ее на щербатый стол и, ничего не говоря, погладила Сильварио по курчавой жесткой голове. Тогда Сильварио вскочил. Все чувства, которые он упрямо скрывал много месяцев, прорвались. Он поднял кулак и на своем языке прокричал боевой клич астурийских повстанцев: „Союз братьев-пролетариев! Уачепе! Уачепе!“ Его гортанный крик прозвучал торжественно и страшно. Я никогда не забуду, как заблестели глаза людей моей страны.

5

Дома были на сваях; ночью под ногами ворочалось море. Голодные ребята искали на скалах яйца чаек. Остров вонял треской. В белые ночи парни бродили по камням, как полоумные. Иногда один из них вытаскивал нож. „Разве так дерутся?“, бормотал старый рыбак; он помнил свадьбы и бури мертвого века. За камнями зеленели глаза испуганной девушки. Акушерка ходила в клеенчатых штанах. Она кричала, как капитан: „Давай таз!“ Дети не знали ни коней, ни колосьев; из колыбели они ползли в шлюпку. На кладбище были пустые могилы с именами утонувших.

В доме скупщика рыбы Иенсена громко-

говоритель равнодушно кричал о скачках и мятежах. Иенсен писал накладные. Потом он играл в шашки сам с собой. В натопленной до удушья комнате он разводил крохотные уродливые кактусы. Он спал с глухой служанкой. Среди ночи он кричал от тоски. Служанка не просыпалась.

Прошлой весной рыбаки забастовали. Иенсен сидел у себя, закрыв ставни. Бури солнцеворота трясли остров. Треска проходила мимо, и жены рыбаков уныло твердили: „Зимой мы сдохнем с голоду“. На шестой день, отворачиваясь друг от друга, рыбаки поплелись к пристани. Иенсен открыл ставни и крикнул приказчику: „Принимай рыбу, бездельник!“

Секретарь союза рыбаков Лунд ходил на морского льва. Он глядел вверх большими безбровыми глазами. В его комнате валялись партийные брошюры и крохотные кораблики, которые он вырезывал для ребят. Кумушки говорили, что Лунд хочет жениться на дочке аптекаря, Марте. Насмешливо кривя свой беззубый запавший рот, жена бургомистра повторяла: „Здесь он свернет себе шею“.

Лунд был молчалив и буен. Мы стояли с ним возле елки, это было единственное дерево острова. Мимо прошла Марта. Лунд держал в руке железный брусок. Он молча отвернулся. Потом я увидел, что он согнул брусок. Елка напоминала о лесе и счастье. Лунд никогда не говорил мне о Марте. Он спрашивал, как живут наши поморы и, усмехаясь, рассказывал о союзе рыбаков.

Семнадцатого марта жители острова справляли годичный праздник; они пили скверный ром и прыгали через скамью в большом сарае, разукрашенном бумажными розами. Лунд танцевал со всеми девушками острова. На его огромном лбу блистали мелкие капли пота. Подняв стакан, Иенсен сказал: „Ты замечательный парень! Почему бы нам не подружиться?“ Лунд ответил: „Потому что ты не человек, а прибавочная стоимость“. Увидав растерянные глаза Иенсена, он добродушно засмеялся.

Ночью под моим окном раздался голос Лунда: „Смотри, я его прирежу...“ Воспаленный глаз маяка рыскал по мокрым скалам. Я увидел Марту; ее рыжие глаза смеялись.

Вскоре мы узнали, что дочка аптекаря выходит замуж за Петерсона.

В апрельскую ночь завывала сирена. Парусник „Эдда“, на котором находились Петерсон и еще три рыбака, затонул в двух милях от берега. С Лундом поехал старик Ларсен. На камнях метались женщины. Грудные ребята кричали в пустых домах. Последним Лунд вытащил Петерсона. Когда люди вышли из лодки, с них стекали широкие струи воды. Кто-то посветил фонарем. Веки Петерсона шевелились. Оглянувшись, Лунд увидал Марту. Он громко сказал: „Получай свое добро“. Он пил до утра, мокрый и горячий. Как морской лев, он ударял локтями о стол и сердито фыркал.

Бургомистр созвал жителей острова в школу. Он надел сюртук, а шею повязал черным галстухом. Дети позади хихикали. Бургомистр сказал: „Тише! Я хочу поздравить наших соотечественников: Лунда и Ларсена“. Он протянул руку Лунду. Лунд вырвал свою руку, как будто он обжегся. „Что с тобой, Лунд?“ Лунд ответил: „Я еще с ним сосчитаюсь“. Школьники звонко отчитали заучен-

ные стихи. Ларсен сказал: „благодарствую и забыв, что он в школе, сплюнул слюну, рыжую от табака. Вдруг Лунд поднялся на кафедру: „Никому не выезжать в море. Союз обеспечен сухарями и сочувствием трудящихся. Разговаривать не о чем: От себя скажу одно: остров наш маленький, а море большое. Пусть Иенсен об этом подумает“.

Громкоговоритель выкрикивал цены на треску в Трондхъеме и в Ньюкестле, но Иенсен его не слушал. В ярости Иенсен кричал: „Чорт побери, я не рыба!“ Глухая служанка радостно улыбалась.

Иенсен сдался. На острове снова сушили треску. Свадьбу Петерсона и Марты отпраздновали в июле. Море ночью было розовым, как небо. Рыбаки, танцуя, вскидывали вверх свои кривые ноги: жизнь им казалась качкой. Марта иногда вздрагивала: ей сказали, что Лунд сидит у себя и ковыряет доску ножом.

Они встретились несколько дней спустя возле почты. Лунд подошел к Марте, она зло прищурилась. „У меня для тебя подарок“, он вынул из кармана кораблик. Это было трехмачтовое судно, белое и нарядное. На

корме Лунд крохотными буквами проставил: „Челюскин“. Он сказал: „Видишь, разбит льдами, а знаменитый корабль...“

Виновато махнув рукой, он пошел прочь. Я увидел его ночью. Он сидел на камне и упрямо качал головой. Ветер бил ему в лицо. Тысячи крикливых птиц, как снег падали на скалы.

6

К дому отдыха вела аллея с солнечными пятнами, шмелями и росой. У реки Васька поджидал прокурора Иваницкого. Прокурор издали кричал: „Даешь сазана!“ Любовно, как нитки жемчуга, он перебирал червей, которых накопал для него Васька. По воде скользили серебристые пауки. В столовой метались зайчики. Согнувшись над шахматной доской, председатель горсовета Малыгин приговаривал: „Стопроцентный зевок“. Позади дома, среди ромашек и колокольчиков, паслась огромная пятнистая корова. Секретарь горкома, глядя на корову близорукими ласковыми глазами, спрашивал сторожиху Дуню: „Удой как — повисился?“ Дуня фыр-

кала, и под узкой кофтой ходили крепкие груди. Стояла густая тишина августа.

Начальник строительства Осипов, похожий на рассерженного медведя, толкал забуксовавшую машину. Наконец, машина поддалась. Фары вырывали из темноты то кипу черных лакированных листьев, то поляну, полную взволнованным туманом. Осипов думал о Лизе.

Всю прошлую ночь он бился с жизнью. Служебный вагон сиротливо чернел в тупике. Расстегнув ворот рубашки, Осипов бродил по путям. Он не любил спать, когда вагон стоял на месте. Давние встречи маячили перед его глазами, пестрые и оскорбительные, как тряпье табора. Утром, хлебнув теплого чая, он рассердился. Удивленно он оглядел наволочку, припудренную черной пылью, папки на столе, мутные стекла вагона. Он вдруг понял, что ему необходимо увидеть Лизу.

В дом отдыха он попал поздно вечером. Он обежал сад, раздирая руками мокрые кусты и глухо, по-звериному ворча. Лиза сидела на скамье возле реки. Осипов сел рядом: „Мне надо с вами поговорить“. Он долго

шарил по карманам, разыскивая портсигар и спички, вынул папиросу, но не закурил. Лиза сидела, отвернувшись. Он слышал, как она дышит. Наконец она спросила: „Вы хотели мне что-то сказать?“ Он снял фуражку, вытер рукавом лоб, но ничего не ответил. За рекой дрожали костры колхозников. Лиза была большая, белая и тихая. Осипов ни о чем не думал. Слабая улыбка смягчала его угрюмое скуластое лицо. Он знал теперь, что ничего не скажет. Тишина ночи его теснила. Взглянув искоса на Лизу, он возненавидел свою жизнь.

Из куста с шумом вылетела птица. Легкий ветерок покружился над верхами осин и упал. Осипов почему-то вспомнил о костылях: на третьем участке нет костылей... Эта мысль была мелкой, но настойчивой.

Лиза сказала: „Здесь сыро“ и поднялась. Она пошла к веранде. Под электрической лампочкой дрожали лиловые астры. Осипов пошел было вдогонку, но сразу остановился и неуклюже махнул рукой. Пять минут спустя он будил шофера. Снова под фарами мелькали клочья тумана. Осипов теперь ду-

мал о костылях, о насыпи, о профиле дороги. Отдельные мысли сцепились; перед ним была трасса, прямая и узкая как воля.

В пять утра служебный вагон прицепили к пассажирскому поезду. Свалившись на койку, Осипов тотчас уснул. Он проснулся с рыком: „Где костыли?“ На солнце горели отполированные спины землекопов. Колея терялась среди зноя и дыма. Осипов ел кислый крыжовник и усмехался.

Он ездил дни, месяцы, годы. Он уговаривал хромого „Молодчика“ прибавить ходу. Он трясся на громыхавших телегах. Он ночевал в бараках, пропахших кожей и щами. Он ночевал один под звездами осени. Он говорил с грабарями о коммунизме и он пел с ними песни Украины. Скидывая рубашку, он хватался за кирку. На январском морозе он кричал: „Давай!“ Казалось, дыхание, выходя из его рта, становится ледяным столпом. Сотни километров отделяли одну его заботу от другой. Его хозяйство было длинным, как жизнь. Вспоминая огни за рекой и быстрое дыхание, он сердито расставлял руки. Крохотный вагон жалобно поскрипы-

вал. Тогда Осипов затевал шумные игры с сыном уборщицы, трехлетним Мишкой: Мишка был машинистом, Осипов паровозом.

Он встретил Лизу в Москве, на Тверском бульваре. Она ступала осторожно и уверенно. Большой живот и пустые глаза делали ее похожей на статую. Пригнув голову набок, Осипов заглянул в ее глаза и весело засмеялся. Человек, который шел рядом с Лизой, представился: „Васильев“. Осипов долго тряс его руку. Когда Осипов ушел, Васильев сказал Лизе: „Вот он какой...“ Лиза ничего не ответила: она шла, дышала, жила; ей не хотелось думать.

Неделю спустя было торжественное открытие дороги. Осипов рассеянно жал сотни рук. Улучив минуту, он прошел в свой вагон. Он глядел на карту. Пески пустыни были обозначены желтыми расплывчатыми кругами. Осипов жадно сжимал огрызок карандаша. Рабочий ударял молотом по колесам и этот грохот был музыкой. В знойном воздухе мелькала яркая мошкара. Услышав фугаты оркестра, Осипов вздрогнул: он думал о новой дороге.

7

Роже сказал: „Я не знаю, что мне делать с Андро?“ Смеясь, я ответил: „Утопи его“. После этого мы пили „шавиньоль“ и Роже, щелкая языком, говорил: „Удивительное вино! Ты чувствуешь привкус дроби?“ Он знал, где можно получить шипучее „вувре“ или густой, как бычья кровь, „поммар“. Впрочем, он все любил: самопишущие перья, птиц, танцуйки, автомобильные гонки: это был человек, помешанный на жизни. Он всегда торопился. Он съездил в Бразилию; так можно съездить в пригород. Два месяца он просидел в тюрьме: во время демонстрации у „Стены коммунаров“ он подмял под себя полицейского. В тюрьме он все время пел;

начальник записал его в церковный хор. Он затевал с детворой сложные игры. Мальчишки с улицы Менильмонтан звали его „Зеленым гэнгстером“. Он успел сделать два фильма. Он сам писал сценарии. Он показывал актерам, как надо играть сентиментальных модисток или расслабленных сановников. Вместе с оператором он взбирался на мостки, отыскивая угол съемки. В павильоне он вдруг становился сосредоточенным, даже суровым.

Над второй картиной „Озеро Чен“ он работал долго. Он сказал мне, что история человека, который чересчур счастлив, преследует его с детских лет. Он часто рассказывал о похождениях своего героя-птицелова Андро. Я плохо его слушал. Так и теперь, не подумав, я сказал: „Утопи его“. Он отставил стакан, и внимательно поглядел на меня. Я поспешил добавить: „Впрочем, тебе видней. Я в этом ничего не смыслю“. Он продолжал смотреть на меня. Потом он сказал: „Может быть ты прав. Но я боюсь, что не сумею этого показать. Все, что делает Андро, пережил я сам, это почти авто-

биография. А насчет развязки... Стыдно сказать, но я боюсь смерти. Я стараюсь о ней не думать“.

Я вспомнил, как я пришел домой после похорон матери. Накрыли на стол. Родственники ели долго и настойчиво. Я видел, что отец не может есть. Я сурово сказал ему: „Надо“. Я взял ложку и тотчас ее отложил. Тогда отец сказал: „Ешь“. Мы наблюдали друг за другом, как враги: мы должны были жить и никто не смел уклониться от этой повинности.

Я сказал Роже, что о смерти нельзя не думать. О ней следует думать редко и напряженно: это лекарство отсчитывают скупыми каплями. Роже снова пил вино и смеялся.

В тот вечер мы поспорили о коммунизме. Роже говорил: „Я люблю труд и справедливость, но я не хочу, чтобы статуи правили скульптором“. Я засмеялся: „Ты что же, зовешь статуями обыкновенных людей?“ Рассердившись, он опрокинул стакан: „Я зову статуями осуществленные идеи. Трудно сказать, „почему я занялся искусством, я ненавижу форму“.

На просмотре картины „Озеро Чен“ я все время думал: что сделал Роже с птицеловом Андро? Был осенний вечер. Расплывались тусклые фонари. Струи дождя стекали с резинового плаща полицейского. Когда Андро кинулся в Сену, я облегченно кивнул головой.

В Париже много говорили о фильме „Озеро Чен“: Роже одержал еще одну победу. Его звали в Холливуд, он отказался. Мне говорили, что он женился на мексиканке. Потом я потерял его из виду.

Настало лето. Как кровь к голове, предместья кинулись к Парижу. Бастовали камнетесы и цветочницы. Красные флаги бесцеремонно карабкались по ветхим пепельным фасадам. Из ворот вылетали звуки „Карманьолы“. В окне модного магазина восковая красавица держала плакат: „Мы не хотим дольше голодать“.

Вдруг имя Роже прорвалось сквозь цифры стачечников, сквозь дрожь богобоязненных старух, сквозь сжатые кулаки металлистов: „Покончил с собой известный кинорежиссер...“ Жена Роже весной уехала в Америку.

Он жил один в огромной мастерской среди яванских марионеток и малиновок. Молочница каждое утро ставила у его двери бутылку; бутылки выстраивались в ряд. На восьмой день, не выдержав тишины за дверью, молочница позвала привратника. Тот выругался и острым плечом толкнул дверь. Роже висел на крюке, смутный и неожиданный. В клетках, выпятив вверх сморщенные лапки, валялись мертвые малиновки.

Его хоронили в ослепительный день. Все было чересчур ярким: известка, синее небо, маки, которые цвели на пустом участке кладбища. Мы щурились от света и пыли. Когда гроб сняли с грузовика, кто-то сказал: „А могильщики забастовали...“

Мы долго стояли, не зная, что будет дальше. В строгий распорядок смерти вмешался голод живых. Наконец, приехали пожарные, они начали рыть могилу. Я глядел на актеров, которые собрались, чтобы похоронить Роже. У них была кожа, изъеденная гримом, и красные глаза кроликов. Одного я знал по экрану: он умел бессмысленно глядеть, это смешило людей. Все теми же, навсегда ос-

тановившимися глазами, он глядел на сверкающие каски пожарных.

Я пошел в соседний кабачок. Обычно туда заходят после похорон родственники и друзья покойника, они пьют кислое вино, жуют сыр и старательно возвращаются к жизни. Теперь там сидели забастовавшие могильщики. Один из них, молодой итальянец с лицом смуглой Мадонны кричал: „Здорово“ и весело смеялся.

8

Меня разбудил жестокий шум: музыканты репетировали галопы. В Сан-Жюстене был годичный праздник. На большой площади выросли карусели, палатки фотографов, ларьки с тягучей нугой, балаган, где показывали мартышек и женщину-змею. Несмотря на июльский зной, чиновники и служащие местного банка надели крахмальные воротнички. Они неуклюже ворочали головами. Серая пыль садилась на черные платья женщин. Нужда и заботы года значились на лицах. Вокруг карусели стояли бледные золотушные дети. Они пересчитывали зажатые в кулак монеты. Один сказал: „Я буду визжать“. Он кружился на деревянной свинье

и старательно визжал; другие, молча, на него глядели. Парикмахер дразнил обезьян, но засовывал в клетку дымящийся окурок. Обезьяны кашляли и грустно чесались. Женщина-змея показывала посетителям свои плечи, покрытые чешуей. У нее было лицо старой поденщицы, измученной работой. Она пела непристойные куплеты и парикмахер громко смеялся. Потом ламповщик зажег фонари. В зеленоватом свете площадь казалась огромным аквариумом. Трубачи, со вздувшимися на лбу жилами, глотали теплое пиво. За полночь люди еще танцевали, зевая от усталости и духоты. Молодой рабочий, с глазами неудачника, обнимал остроносую болезненную девушку. Она пыталась улыбнуться и губы ее от напряжения дрожали.

Несколько месяцев спустя я был в Париже на выставке картин. Холсты твердили о скудости жизни. Это были портреты людей с чертами навеки застывшими. Казалось, все человечество скучает в переполненном вагоне метро. Оливковые щеки с неожиданным багрянцем, припухшие фиолетовые веки, грязно-синие тени, крупные мазки, переда-

вавшие рыхлость нездорового мяса. Я по-
глядел на другую стену. Здесь была жалкая
зелень парижских предместий, палисадники,
пропитанные запахом бензина, землистые
дома, квадратные гаражи и облака, похожие
на несвежую вату. Вдруг я улыбнулся: пест-
рые флажки взлетали к фисташковому небу,
доверчиво смеялись коровы карусели, на си-
нем мяче стояла девушка; у нее была шея
розовая и горячая, как пена варенья. Я рас-
крыл каталог: „Поль Аньер. Праздник в Сан-
Жюстене“.

Я познакомился с Аньером. Это был чело-
век лет сорока с большим кадыком. Он жил
на бульваре Гарибальди в глубине темного
двора, полного скрежетом лесопилки. В ма-
стерской валялись старые подрамники, банки
из-под лекарств, сношенная обувь. Черный
всклокоченный кот злобно шипел.

Аньер показал мне свои работы. Смеялись
полногрудые огородницы. В скверах прыгали
дети, похожие на тропических птиц. Голубые
солдаты пили вино под китайскими фонари-
ками. Мне запомнился один пейзаж: беседка,
бледно-зеленый водоем и мраморная спи-

на богини. Я спросил: „это рим?“ — „Нет, это двор — из моего окна“. Я вспомнил мои старые счеты с искусством и сердито сказал: „Вы были в Сан-Жюстене?“ Он ответил: „Конечно. Я пишу только с натуры. Я иногда меняю краски, но я никогда не меняю соотношения тонов“.

Я предложил ему пойти в кафэ. Он смущенно шепнул: „Мне нельзя пить“, но тотчас согласился. Мы пили коньяк у цинковой стойки, изъеденной кислотами. Ругалась пьяная старуха; сквозь ее пальцы сочилось красное вино. Аньер не умел пить, после первой рюмки он охмелел. Я узнал, как он живет. Женщины смеются над его кадыком. У него язва желудка; он ест только картофельное пюре. Его кот никогда не мурлычит.

Он проглотил вторую рюмку и неумело, по-детски выругался. Я забыл о холстах; мне стало жаль этого больного заброшенного человека. Я сказал: „Зато у вас интересная работа“. Он рассердился. Его голос стал пискливым: „Я ее ненавижу! Почему я не родился монтером или птицеводом? Каждое утро я говорю себе: Аньер, надо работать, и я отве-

чаю: дудки! Так проходит час или два. Потом я берусь за кисти. Я не знаю, счастлив ли я пока работаю. Это все равно, что спросить человека счастлив ли он, когда спит. Но когда я кончаю работу, мне хочется кричать. Я не могу глядеть на свои холсты — это как пустые бутылки после попойки. Я взял как-то тюбики с красками и начал их давить. Мне казалось, что я душу врага. Я смешал все краски. Потом я плакал: у меня не было красок и я не знал, как прожить день“.

Больше он ничего не сказал. Он простился со мной вежливо, но равнодушно, и зашагал чересчур прямой походкой нетрезвого человека, среди круглых зонтиков, под мутными рожками газа.

9

То, что я хочу рассказать, может показаться бессвязным: это рассказ о моем мире. Заглядывая в оконца булочных, я завидую пекарям: запах хлеба твердит о жизни. Я завидую литейщикам и сварщикам: металл бьется, как кровь. Я завидую огородникам: они выращивают крепкие огурцы и по-детски нежный картофель. Я завидую астрономам: когда они ошибаются, наступает новая эра.

Я писал „Книгу для взрослых“ днем и ночью. Под окном грохотали грузовики, и уличные певцы оплакивали молодость. Я писал о своей жизни. Освежавшиеся года становились абзацами. Просыпаясь утром, я встречался с собой; это были тяжелые встре-

чи. Я строил фразы из того, что еще недавно было моей страстью. Когда я закончил эту книгу, моя жизнь показалась мне вытоптанной, и я не знал, где мне теперь кочевать.

Я получил письмо от незнакомой француженки. Она писала: „Я учительница. Мне пятьдесят два года. Я должна рассказать о своей жизни. Сообщите, когда я могу вас увидеть. Прилагаю марку на ответ“. Я ответил с большим запозданием: я писал „Книгу для взрослых“. Письмо пришло назад с пометкой: „Адресат умер“.

Недавно я ехал из Вены в Париж. Мой попутчик оказался сотрудником парижского торгпредства. Он заведывал продажей платины для катализаторов. У него были ярко-зеленые насмешливые глаза. Он рассказал мне о параде физкультурников и в унылое купе ворвался топот Москвы. Он говорил о своей работе, о хитрости покупателей, о происках конкурентов, о вежливой ненависти врагов. Я охотно простил ему и ребячливую заносчивость и марш из „Веселых ребят“, который он насвистывал до одурения: это

был человек в мире банкетов, комиссионных и низости.

Он лег на верхнюю полку. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Вдруг он сказал: „У меня вышла смешная история с вашей книгой. Я тогда попал в нехорошую полосу: работа не ладилась, разругался с товарищами, а тут еще бытовая неувязка. Вам, как писателю можно рассказать. Да и рассказывать собственно нечего: просто жена сошлась с другим. Мы с ней еще в одной комнате жили. Она меня раньше звала не по имени... Вроде как кличка, не стоит говорить. Вдруг я слышу она и его так зовет. Мне все в голову бросилось. На службе стал придирчив. Я на пробке работал: мы в Испании пробку покупали. Сдуру взял и забраковал. Ночью пришел к себе, мысли самые дурацкие. Револьвер у меня был... Все-таки лег. Машинально беру книжку. Роман. До утра читал. Потом вдруг спрашиваю себя: что со мной случилось? Как будто жар спал. Пошел спокойно на работу. Разве не смешно?“ Я увидел его светлую голову, свесившуюся вниз. Он несколько раз повторил:

„Смешно“. Его глаза не смеялись: видимо, он с неохотой вспоминал прошлое.

Утром он добродушно фыркал, висел на ремнях вагона и махал рукой школьникам, которые толпились на платформах крохотных опрятных станций. Посмеиваясь, он сказал: „Оптимизма у вас нехватает. Ну, скажите, почему у вас книги такие невеселые?“ Поезд пробежал мимо домов; в окнах мелькали тени. Я думал о письме учительницы, на которое слишком поздно ответил.

В Париже я пошел в библиотеку: мне нужна была справка об Евгении Савойском. В библиотеке было темно и прохладно. Люди говорили шопотом. Готические окна и затхлый воздух напоминали церковь. Рядом со мной сидел молоденький студент. Читая он шевелил пухлыми губами. Я посмотрел: Иоахим Бэлле. Наверно, он готовился к экзаменам по литературе. Я вспомнил стихи Бэлле: пыль дорог и угрюмый бой стареющего сердца. Корешки на полках тускло просвечивали. Равнодушно шуршали страницы. Я записывал даты забытых всеми битв. К моему соседу подошла девушка. Они пошептались и вместе

вышли. Я сдал книги сонному служащему. На улице пахло летним дождем. Пройдя несколько шагов, я увидел студента и девушку. Повернувшись спиной к прохожим они целовались.

10

В городе было тревожно. По горячей пыли шагали белобрысые солдаты. Они недоверчиво глядели на приоткрытые окна верхних этажей. Жандармы штыками разрывали возы с сеном. В гробу нашли листовки, полные грозных слов. Ярусы тюрьмы гудели, как пчельник. Черноусый майор допрашивал арестованных. Когда к нему привели чахоточную швейку Риту, он усмехнулся. Рита начала петь. Майор сказал: „Говори, где типография?“ Рита крикнула: „Встать, когда поют Интернационал!“ Ее выволокли за ноги и денщик долго отмывал пятно на ковре.

Юродивый Лейба, который тридцать лет бегал с ручной тележкой, упал на землю и

заржал. „Будет несчастье,—говорили хасиды,—еврей кричит, как нечистое животное“. Жена цадика зарыла в золу изумрудные серьги. Цадик говорил: „Надо плясать и веселиться. Бог любит, когда люди веселятся“. Цадик пил приторное палестинское вино, нюхал сухую гвоздику, и раздвигая грязными пальцами бороду, улыбался.

Накануне праздника Торы умерла старая Сура. Она умерла среди тряпья и ржавых сельдей. Вокруг ее койки, на лестнице, во дворе толпились хасиды. Фабрикант Зандберг крикнул мальчишке: „Сопляк, надень картуз, праведница умирает“. Из груди Суры вырвался короткий глухой звук. Портной Беркович вытер глаза и сказал: „Вот уже прогремела труба архангела, скоро придет Мессия“.

Вечером на фабрике Зандберга забастовали рабочие. Солдатам роздали патроны и папиросы. Два полицейских вскарабкались на крышу суда, чтобы сорвать флаг. Кровавый лоскут бился по ветру, как огонь.

В день праздника Торы к цадику прибежал Зандберг. Задыхаясь, он сказал: „Пусть

отсохнет мой язык, если я говорю неправду. Он был у меня на фабрике. Он говорил с рабочими“. Цадик поднял мокрые воспаленные глаза и спросил: „Кто?“ Зандберг ничего не ответил. Тогда цадик начал танцевать. Он задира́л вверх припухшие подагрические ноги. Он бил себя в костлявую грудь. Его желтая борода металась, как маятник. Хасиды били в ладоши. Потом цадик остановился, плюнул на пол и закричал: „Да будут прокляты сионисты! Да будут прокляты учителя гимназии! Да будут прокляты коммунисты! Да будет проклят тот еврей, который приходил на фабрику Зандберга!“ Он еще раз плюнул и закурился по молельне.

Утром в казарме завыл рожок. Молоденький офицер волновался. Он вытирал платком пот в углах губ. Рабочие Зандберга перешли мост. Услышав рев толпы, лошади шарахнулись на тротуар. Зазвенело стекло. Офицер махнул платком и закрыл глаза.

Зандберг кричал цадику: „Это как в России. Ты увидишь, что они отберут у меня фабрику“. Цадик продолжал улыбаться: „Есть животные чистые и нечистые. Есть крохот-

ные звезды и большая луна. Твоя фабрика — это твоя фабрика. Или ты не веришь в бога, старый бесстыдник?” Зандберг стоял у окна. Он видел, как его рабочие опрокинули цепь солдат. Он ответил цадику: „Я верю в него, но я ему не доверяю. Это сумасшедший бог“.

Как курица в руках резника, забилась жена цадика, услышав выстрелы. Ее парик сполз; под ним оказался жалкий седой пух. На лестнице шумели хасиды: „Горе! Горе!“

„Вы врете“, — крикнул цадик. Зандберг пожал плечами: „Я тебе говорил, что он ходит на фабрику“. Помолчав, цадик сказал: „Он был плохим евреем, но все-таки он был моим сыном“. Цадик ножницами изрезал свой шелковый лапсердак, сел на пол и завыл. Рядом с ним села жена, а позади знатные хасиды. Не останавливаясь, они выли день, ночь и второй день.

Сына цадика, коммуниста Герша хоронили в горячий ветреный вечер. За гробом шли щедедушные белошвейки и рослые рыжебородые носильщики. Извозчики слезали с козел и шагали вслед. Дети рабочих несли венки от кожевников, от щетинщиков, от обой-

щиков. Шли крестьяне в бараньих шкурах, босоногие женщины в пестрых платках, евреи в крохотных картузиках. Полуголые цыгане, лудильщики и музыканты, выбегая из лачуг, становились в ряды. Гроб был обернут в кумач и казалось, что кровь убитого Герша проступает из гроба. На пустых площадях ветер кружил столбы пыли и слова запретных песен.

Услыхав пенье, цадик подошел к окну. Неожиданно он засмеялся. Хасиды не подняли голов: они продолжали оплакивать мертвого. Цадик сказал: „Довольно кричать! Или вы не видите, что на улице люди пляшут? Бог любит, когда люди...“ Не досказав, он покачнулся и упал. Зандберг злобно толкнул ногой его большую волосатую голову.

11

Жизнь человека удивительна. Она может прошуметь, как летний ливень. Она может раскрыться накануне смерти. Павел Волков был золотопогонником и убийцей. Как в горячке, он метался по степям Кубани. У него были глаза лошади бешеной и пугливой, таким надевают наглазники. В разгромленных шашлычных он молча пил водку и, увидев в окне грязно-розовый рассвет, хватался за наган. Он сорвал с меня шапку и крикнул: „Свинца подолью!“ У него были оттопыренные уши подростка.

Грохотали огромные прессы. Станки кричали, как помешанные. Металл жил жизнью громкой и отчаянной. Вокруг завода были

пустыри: Париж в перепуге расступался. Вдруг я услышал русскую ругань. У печи стоял Волков, красный от огня.

В отхожем месте он наспех крутил папиросу и ругал хозяев. Он пил у цинковой стойки кислое вино. Старик Жюль, причмокивая, говорил: „У нас в Сансерре вино куда лучше“. Волков отвечал: „Да“. Он весь порос серыми жесткими волосами. Хозяйка харчевни звала его „Подем“. Он жил в крохотной комнате с огромной кроватью. Три года сряду он вздыхал по Марго. Марго вышла замуж за механика Дюпона. На свадьбе Волков много пил, танцевал казачка, а под утро вдруг крикнул: „Не везет“ и рассмеялся. По воскресеньям он ел у Пере жареную баранину и возил на спине их маленькую дочку. Товарищи шутя называли его „генералом“. Он улыбался: „Есть генерал“. Он ходил с дочкой Жюля, Ивонной, в кино. Когда на экране маленький человечек в котелке и в стоптанных штиблетах уходил один по пыльной дороге, Волков сморкался и виновато совал Ивонне апельсин. Он сказал мне, что во сне говорит всегда по-фран-

цузски. Как-то Пере пошел на собрание. Волков робко спросил: „А мне можно?“ На собрании он дремал, но когда раздавались аплодисменты, вскакивал и отчаянно хлопал.

Забастовка началась сразу. Волков стоял у печи. Жюль подошел к нему и, запинаясь, спросил: „А ты как, генерал?..“ Волков понял, что все не в счет: годы работы, вино у стойки, шутки, горе. Он хотел выругаться, но слова застряли в горле. Жюль шепнул Пере: „Как бы генерал не подвел“.

Забастовщики стояли у ворот: говорили, что идут желтые. Волков стал рядом с Жюлем. Жюль спросил: „И ты тут?..“ Волков молча махнул рукой. Напротив стояли жандармы. Потом подъехала машина. Человек в штатском, щуплый и взволнованный, крикнул: „Прошу разойтись!“ Кони жандармов завязли в толпе. Истошно кричала женщина. Камни взлетали тяжелой стаей. Жюль зашатался и упал. Волков стащил бригадира с лошади. Четыре полицейских едва его связали. Под ключьями рубашки сердито приподымалась волосатая грудь.

Прошло два года. На площади Нации длин-

ные знамена стекали с колонн. Народ Парижа шел, подняв кулаки и крича о своей надежде. Шли старухи в ночных туфлях, с лицами, растрескавшимися, как земля в засуху. Шли высокие худущие подростки, дети безработицы и тоски. Шли кожевники и поэты, прачки и ученые, каменотесы, модистки, угольщики, пекаря. Шли рудокопы Севера с лампами и виноделы Юга с гроздьями. Две женщины держали под руки дряхлого старика: он сражался за Коммуну на черных улицах Бельвилля. Картузники несли кепку на шесте: „Вот твоя корона, рабочий Парижа!“ Слепых вели дети, безногих везли в тележках. Выстроясь в ряды, девушки шли на приступ темной июльской ночи. Мальчишки, как воробьи, облепляли деревья и кричали от счастья.

Волков шел впереди одной из колонн. С его лица как будто сняли тридцать лет: он улыбался, как ребенок. Его окликнули: „Поль!“ Я подумал про себя: „Пашка...“ Он чересчур громко пел. Маленький флаг над его головой кружился, как детский шарик.

Когда кончилась манифестация, мы сели

на террасе пустого кафе. Оттолкнув губой пену, Волков жадно выпил кружку пива и сказал: „Хорошо!“ У него был московский выговор, певучий и беспечный. Пошел частый, теплый дождь, улицы заблестели. Мы говорили о стачках, о врагах, о победе: он не знался с прошлым. Только, прощаясь, он вдруг сказал: „Когда будете в Москве... это на Моховой, рядом с книжной лавкой Карбасникова...“

Он думал, что улицы и дома долговечней людей.

12

Я думаю о судьбе Жака Дево, батрака, который спал на коровьем навозе, убийцы и легионера. Это был худой сероглазый человек, сын неизвестного повесы и парходной судомойки. Детство он провел в воспитательном доме. Его секли за проступки других. Он чистил картошку и молчал. Потом его послали на ферму. Три года он проработал молча, как во сне. Хозяин ему сказал: „Это ты вытащил деньги из-под тюфяка“. Дево ответил: „Нет!“ Хозяин ударил его уздой по лицу. Даво пошел в хлев. Коровы утомительно чавкали. Дево пролежал до ночи на липкой соломе. Потом он прошел в комнату, где спал хозяин и ударил его колуном.

Он добрался до Барселоны; там он работал грузчиком. Он макал хлеб в вино и думал, что ничего в его жизни не переменялось.

Дево сидел в харчевне и ел рыбу. Рядом сел рыжеусый француз. Дево поглядел на него и поперхнулся. Всю ночь он метался по узким улицам „Китайского квартала“. Проститутки, ухмыляясь, обнимали его; какой-то человек совал ему кувшин с вином; он бежал не останавливаясь. Где-то, в проходных дворах, среди ярко раскрашенных женщин и ночных сторожей, метался другой человек — с рыжими усами. Утром Дево замер возле ворот, облепленных пестрыми плакатами: горнисты кривили презрительно рот. Дево записался в иностранный легион. Он узнал зной и озноб Африки. Он узнал любовь в Мелилье, где голые женщины выставлены в дверях лавчонок, как бараньи туши. Он стрелял в арабов. Его жизнь была полна перемен и опасностей, но он не знал своей жизни. Попрежнему он уныло глядел вниз, и песок Африки ему казался навозом нормандской фермы.

Был ясный осенний день. Жака Дево вмес-

те с другими легионерами отправили из Тетуана в Испанию. Они высадились в Хихоне. Им сказали, что они должны усмирить шахтеров. Солдаты угрюмо шагали по земле, черной от угля и горя.

В Овьедо шли бои. На колокольне собора, среди готических химер, пулеметы водили юркими носами. Как обвал с окрестных гор свалились на город горняки. Они принесли динамит, динамитом они взрывали дома. К небу взлетали крылья каменных ангелов, тяжелые голуби и тонкая белая пыль. В общественном саду валялись два трупа: старик руками, синими от угля, обнимал девочку; девочка обнимала голую розовую куклу. Снаряды шахтеров не разрывались, и сеньора Перес, содержательница дома терпимости, излюбленного офицерами гарнизона, ставила свечки богоматери. В огромных монастырях монахини день и ночь выли волчьими литаниями. Женщины несли красным патроны и большие круглые хлеба. На горе Наранка Аида Лафуэнте, девушка семнадцати лет, одна отбивала атаки легионеров. Бомбовозы жгли лачуги. Раненые лежали молча: некому было перевя-

зывать раны, дети подбирали винтовки мертвых и с криком кидались на легионеров.

На десятый день пулеметы замолкли. Легионеры шли по улицам города, как по африканской пустыне. Эти разноплеменные люди требовали веселья. Они ругались по-немецки и пели португальские частушки. Саблями они рубили куриц. Они крошили дома, черными ногтями вбивались в пуховики, и громко зевая от усталости, они пороли штыками животы шахтеров. Они сожгли театр: они хотели зрелищ. Я видел музу трагедии Мельпомену, она одна уцелела, с отбитым носом, с прокопченными волосами, собранными в узел, с пустыми глазами трагедии, женщины, статуи.

Я был в лачуге старухи Долорес. У нее черные глаза и ослепительно белые волосы. Она вырастила двух сыновей, соля слезами жесткий испанский хлеб. У нее было свое ремесло: она обмывала покойников. Когда умирал майор королевской армии, звали старуху Долорес. Ее всегда звали „старухой“: она поседела, когда ей не было тридцати, в сорок она согнулась, как маслина, сбитая

морским ветром. Старуха Долорес мыла желтое тело покойника. Потом труп одевали в парадный мундир. Мертвый майор лежал в лоборе, среди святых с жепскими кудрями, среди звона, лилий и тления. Старуха Долорес мыла сотни тел, изъеденных язвами, впухших от водянки, иссохших и похожих на птиц и скелеты. Она отсчитывала медяки и варила детям горох. Был октябрьский день. В лачугу старухи Долорес вошли легионеры. Хуана они убили на месте. Младшего — Пепе — они долго гоняли по крутым холмам. Они застрелили его в оранжерее, среди битого стекла и роз.

Старуха Долорес сидела на койке, когда дверь раскрылась и вошел легионер. Она выпрямилась, выпростала свои костлявые руки и закричала: „Не гляди, что старуха!.. Я рожать буду!.. Новых! Другие родят! Мы вас перебьем!“

Старуха Долорес сказала мне: „Он сперва замахнулся. Он здесь стоял — где ты. Потом бросил ружье. Я спросила: „Что ты стоишь?“ Сч не ответил. Я поставила миску на стол: „Ешь, собака!“ Он стал хлебать. Потом я ска

зала: „Уходи“. Он не уходил. Он валялся у меня в ногах. Потом он ушел, а ружья не взял. Я закопала. Когда наши вышли из тюрьмы, я отнесла ружье в комитет. Я сказала: „Научите меня стрелять. Мы их перебьем, всех перебьем!“

Старуха Долорес подняла сухую руку, сжала пальцы в кулак и что-то прокричала среди тишины дождливого вечера.

13

„Надо попробовать связаться с Флоридсдорфом“. Гайнц не поднял глаз. Он перевязывал руку дочери Кранца. Длинная прямая улица была выметена пулеметом. По середине мостовой валялась фуражка. С запада к дому подходили хеймверовцы. Когда замолкали пушки, до окон доходил гул, похожий на дыхание разгоряченной своры. Сын Кранца, двадцатилетний Отто, сказал: „Я пойду“. Он покраснел от смущения. Гайнц в злобе разорвал марлю и выругался. Все на него поглядели. Он молча затягивал бинт. Наконец, он сказал: „Готово“. Раздался грохот. „В третий корпус...“ Гайнц поднялся и надвинул ке-

пку на уши: „Отто слишком зелен для такой дермовой истории. Пойду я“.

Гайнцу было сорок шесть лет. Он работал сортировщиком на товарной станции. Он жил один, в крохотном доме, среди тыкв и кур. Это был седоусый рослый человек. Он любил молодое кислое вино. Когда его спрашивали: „Ты социалист или коммунист“, он сердито дергал усы и отвечал: „Я — Гайнц“. В первый день восстания он пришел к Кранцу, взял винтовку и сказал: „Теперь будем бить зайцев“. Он хорошо стрелял, а его громкая ругань, как ветер, хлестала людей, засыпавших от усталости.

Гайнц выполз на животе. Отто стоял, не смея дышать, возле узкого окна лестницы. Потом Гайнц свернул в переулок. Отто прошел к Иоганне. Он сказал: „Гайнц меня не пустил“.

Он стоял, виновато вытянув руки по швам. Иоганна не сумела скрыть улыбки. Она несла большие хлеба в третий корпус, где стояли пулеметчики. Отто пошел с ней. Зазвенели стекла, Иоганна пропала в плотном сером облаке. Потом он снова увидел золото хле-

бов и розовую щеку. Они зашли в комнату, где жила Иоганна. Они сделали это молча, без уговору. Иоганна положила хлеба на стол. Под ногами хрустели осколки стекла. Холодный ветер подымал края занавески. На кровати лежали винтовки, Отто почему-то глядел на открытки, развешанные веером: синее озеро, крупные желтые цветы. Иоганна сказала: „Помнишь, как мы ездили в Земеринг?“ Он смутно улыбнулся; он вспомнил дым костра и горячее тело Иоганны. Потом он сказал: „Если Гайнц доберется...“ Он не договорил; как все бойцы, защищавшие этот полуразрушенный дом, он больше ни на что не надеялся. Помолчав, он резко отбросил занавеску, ударявшую ему в лицо, и сказал: „Мы с ними еще рассчитаемся“. Иоганна ответила: „Нет, Отто, рассчитаются другие...“ Она обняла его жадно и неумело и побежала, не оглядываясь, по длинному коридору.

Вечером наступило затишье. Слышно было, как кричал грудной младенец. Отто сидел с винтовкой в руке на площадке чугунной лестницы. Перед ним были мутные крыши соседних домов. Где-то между облаками вздрагива-

ли звезды. Он боролся со сном. Когда его щека коснулась железной решетки, он испуганно вздрогнул. Его разбудил одинокий крик. Хеймверовцы ворвались в южные ворота. Бой шел на каждой ступени: рабочие не сдавались. Отто весело вскрикнул: „А!“ и ударил хеймверовца прикладом. Он не помнил себя. Его схватили и скинули вниз, на черный пустой двор.

Гайнца взяли живым возле моста. Полицейский прострелил ему ногу. Когда его вели в казарму, он отбивался и кричал.

Он лежал в погребке на промерзшей земле. Сквозь щель мигал фонарь. За дверью солдаты играли в карты. Гайнец подумал: „Хорошо, что не Отто!..“ От боли в колене он сжимал зубы. Утром он увидел бочки. Солдат открыл несмазанную дверь, харкнул и ушел. Гайнец закрыл глаза и увидел свой дом: он идет на работу, кудластая овчарка бьет хвостом о землю. Он вспомнил запах травы, растертой в руке, и улыбнулся. Воспоминания запыхавшись перебивали друг друга: холод осеннего утра, крепкая грудь соседки Анны, коржики с тмином, короткая прожженная труб-

ка. Жизнь была лакомой, как ломоть свежее испеченного хлеба.

Его судили в тот же вечер. „Подсудимый, встаньте“, — сказал низкорослый одутловатый генерал. Гайнц ответил: „Плевать мне на ваш балаган“. Защитник поспешно залопотал: „Подсудимый не может встать, потому что он ранен“. Гайнц молча выслушал обвинительный акт, краткие речи сторон, приговор. „Хотите ли что-нибудь добавить?..“ Гайнц улыбался: он чувствовал во рту вкус жизни. На минуту оторвавшись от своего напряженного счастья, он сказал: „Вас скоро перестреляют как зайцев“.

Его вели на казнь связанным. Он свирепо вбирал в легкие сырой воздух первого дня оттепели и ругался. Потом он поджал губы и поглядел назад. С мокрого дерева капали крупные капли. Он хотел что-то сказать, но, раздумав, махнул рукой и рассеянно улыбнулся.

14

Я не мог разыскать Гушека. Я узнавал магазины, скверы, статуи. Город был знакомым и неизвестным. Жара не спадала. Люди шли ничего не видя, у них были мутные глаза рыб. Я вспомнил старые адреса. Старуха, приоткрыв дверь, в испуге ее захлопнула. Дети, смеясь, кричали: „Такого нет!“ Человек, судорожно пристегивая подтяжки к брюкам, поглядел на меня и сказал: „Я ничего не покупаю“. Я пошел в кафе, где когда то бывал Гушек. Люди задыхались, окунув лица в газеты. Я спросил потного официанта не видал ли он Гушека. Шатаясь, он повел меня в дальний угол. На плюшевом

диване дремал Кнап. Он отряхнулся и сказал: „Идем ко мне“.

У него изменился голос. Он говорил теперь глухо и равнодушно, разделяя слова утомительными паузами. Я помню, как он вышел из тюрьмы. Он дурачился, лаял, утверждая, что разговаривает с встречными собаками, отвешивал незнакомым церемонные поклоны, становился в позу перед каждым памятником, передразнивая бронзовых проповедников и полководцев. У него был чуб. У него оказались мягкие волосы и пробор. Он сказал мне, что работает юрисконсультom в Аграрном банке. Он разговаривал неохотно. Я спросил: „Может быть ты занят?“ Он поспешно ответил: „Нет“ и взял меня под руку.

Кресла были в чехлах, шторы опущены. На столе тускло посвечивала ваза с виноградом. В комнатах стояла летняя тишина. Кнап сказал: „Через три дня мы едем в Татры“.

Его жену звали Людмилой. Она улыбалась, как на экране. Острые зубы и розоватые глаза делали ее похожей на белую мышь. Она глядела на Кнапа недоуменно и восторженно, как будто видела его впервые. Не-

сколько раз Кнап снисходительно погладил ее стриженный затылок. Я спросил: „Где Гушек?“ Помолчав, Кнап ответил: „Я дам тебе его адрес“. Он стал рассказывать анекдоты: о любовниках, об евреях, о министрах. Людмила попрежнему улыбалась. Кнап глядел на меня в упор и уныло спрашивал: „Смешно?“ Я отвечал: „Очень“. Потом я спросил: „Где Франтишек, Вайга? Ты ведь встречаешься с ними?“ Он молчал. Жужжали мухи. Я отодвинул вазу с виноградом. Наконец, он ответил: „Разве ты не слыхал, что я вышел из партии? Я не согласен с их тактикой...“ Он вспомнил еще один анекдот: о старой кокотке. Я выслушал и встал. Он засуетился: „Сейчас ты все равно никого не найдешь. Это за городом, поедешь завтра. Пойдем в „Савой““.

Несмотря на жару, Кнап заказал сливяную водку. Он бормотал: „Дураки! Делают одну ошибку за другой. Ты меня спрашивал о Франтишке. Это баран. Без инструкций он не способен и высморкаться. Вайга стал депутатом, у него теперь две прислуги...“

Я вспомнил Кнапа на трибуне. Он как

будто отрывал слова от себя, слова были косматыми и теплыми, слушая его, люди плакали. Я сказал: „Раз мы встретились, лучше вспомнить прошлое...“ Он замотал головой: „Нет“. Он пил теперь водку залпом. Угрюмо обличал он своих прежних друзей. Людмила, как эхо, повторяла последние слова его длинных тирад: „ослы“, „разгром“, „предательство“.

На столе стояли тарелки с застывшим салом. Пахло потом и косметикой. Две полуголых девушки с длинными грудями, как заводные, качались на эстраде. Под ногами валялись рыжие раздавленные розы. Толстяк, вытирая салфеткой мясистые губы, целовал женщину. Кнап охмелел. Неожиданно он сказал: „Насчет разногласия — чепуха. Но я не хочу жить для истории. Может быть, я грязное животное, но я чертовски люблю жизнь. Два раза мы не живем, понимаешь?“ Людмила улыбнулась: „Это правда“. Кнап раздраженно крикнул: „Ты в этом ничего не понимаешь“. Он не глядел на меня. Танцевали танго. Круглые стеклянные глаза Кнапа чуть посвечивали в темноте. Он водил паль-

цами в такт музыке, потом он прикрыл глаза и громко зевнул.

К Гушеку я попал на следующий день под вечер. Он находился в санатории. Врач сказал мне: „Половина одного легкого...“ Больные лежали на веранде. Их щеки были белыми или неестественно багровыми. Увидав меня, Гушек радостно засмеялся. Врач позволил ему сойти в сад. Он восторженно повторял: „Огромные успехи!..“ Он расспрашивал о Москве: „А как на Электрозаводе?“ Он говорил о парижских рабочих на площади Бастилии и о крестьянах Эстрамадуры, которые взяли землю. Задыхаясь, он рассказывал мне о Франтишке, который ведет башмачников и батраков к победе. Я не слышал больше свиста, выходявшего из его больной груди. Я забыл, что он умирает. Я спорил, рассказывал, смеялся. Садовник поливал газон и зеленая свежесть окружала нас. Гушек сказал: „Столько работы, а приходится валяться“ и сейчас же спохватился: „Ничего, вылетят“.

Зазвонил колокольчик, надо было расставаться. Я вспомнил, что Гушек женился и

спросил: „Жена твоя где?“ Он спокойно ответил: „Мы разошлись. Когда я заболел... Она теперь с Кнапом“. Он смутно улыбнулся и помолчав сказал: „А Вайга здорово говорил — ты видел газеты?..“ Прощаясь, он весело хлопнул меня по плечу и в дверях еще раз крикнул: „Кланяйся нашим!“

Я вышел из ворот. Прямая белая дорога обдала меня пылью и пустотой. Мне вдруг показалось, что жизнь осталась позади, в горячей руке Гушека.

15

Фернандо шел по Гран Вие, неуклюже сжимая ружье. Сразу стемнело. Накаленные дома еще пылали и улица казалась душным ущельем. Рядом шли другие бойцы, в синих рабочих блузах, в полотняных туфлях. Рыжая девушка пела: „Мы идем в сьерру...“ Это была веселая воскресная песня, с ней обычно уходили в горы: за лачугами и пустырями начиналась сьерра, камни, ветер, эхо.

Они шли в сьерру. Их ждали пули белых, самолеты, падающие вниз, как ястребы, смерть. Фернандо поглядел на рыжую девушку, усмехнулся и подхватил: „Мы идем в сьерру...“

Ему было двадцать три года. Он жил просто и наобум, любезничал с девушками, на работе передразнивал мастера, в воскресенье лазил по крутым горам.

Вдруг отряд расступился: навстречу шел человек с белой палкой. Это был слепой. У него были глаза большие и ясные. Он тихо ударял палкой о мягкий асфальт. Двести человек в синих блузах молча обходили его. Он не знал, кто перед ним.

Согласно приказу коменданта все дома были освещены, окна раскрыты настежь. Город горел, как гигантская люстра. Распотрошенная жизнь вставала перед Фернандо: обеденный стол, детская кровать, старик в длинной ночной рубашке, круглая лампа, девушка возле зеркала. Он не мог оторваться от окон. Он ни о чем не думал, он жадно любовался жизнью.

Потом огни стали реже. До щек дошел ветер. В ряды людей втесалась темнота. Фернандо не видел больше рыжей девушки, он только различал среди других голосов ее голос, глубокий и полный. Ему хотелось пить. Он постучал в дверь лачуги. Старуха

вынесла глиняный кувшин с ледяной водой. Фернандо пил медленно, причмокивая и наслаждаясь. Он любил воду и различал ее вкус. Старуха, вздохнув, сказала: „Убьют вас“. Он рассмеялся и догнал товарищей.

На главной площади Бургоса стоял отряд карлистов. Горбун-пономарь долго бил в колокол. Двери собора раскрылись, потянуло ладаном и сыростью. Медленно выползли священники в фиолетовых рясах. Они бормотали, глядя в крохотные молитвенники. Четыре краснокожих парня несли деревянную статую; богородица бессмысленно улыбалась. Денщик постелил малиновый коврик и генерал осторожно согнул свои скрипучие колени. В тишине было слышно, как лепечет вода, вытекая из пасти бронзового чудовища. Старуха с лицом покрашенным и блестящим, как эмаль, крикнула: „Да здравствует король!“ В ответ закричали нагруженные мулы. Карлик города, писарь Гомес, поднес крохотную сморщенную руку к малиновому берету. На грузовик взобрался монах. В его руке было тяжелое распятие. Красная краска стекала с ребер Христа. Монах сказал:

„Благословляю вас, испанцы! Жизнь впадает в смерть и нет жизни вне смерти“. У монаха было лицо черное и длинное. Он распахнул рясу, под ней оказалась желтая восковая грудь. Генерал присосался бледными губами к отполированным язвам распятья, а потом равнодушно крикнул: „Шагом марш!“

Фернандо трясся на большом грузовике. Из темноты выступили угрюмые камни Эскуриала. Гробы королей Испании тлели, обдаваемые резким светом электричества. В большом зале был лазарет. Фернандо узнал наборщика Модесто. Его ранили в живот. Он тихо и неотвязно повторял: „Нене“; может быть, это было именем. Пахло карболкой. Люди в синих блузах жевали хлеб и гороховую колбасу. Фернандо вышел на пустой каменный двор. Было слишком много звезд для простых глаз человека. Холодный воздух гор изумлял. Фернандо вдруг вспомнил: мать говорила — „Не ползай на коленках! Ползают в пять лет, а в шесть не ползают...“ Смутьившись, он подумал: „а что было в пять?..“ Потом он увидел рыжую девушку. Сам не зная почему, он запел: „Мы идем в сьерру...“

Девушка засмеялась и крикнула: „Ты что же первый петух?“ Он не знал, что ответить и радостно кивнул головой.

Они бежали вперед и пели. Песня росла, на нее откликались далекие долины. Их было двести человек, но казалось, что поет земля, камни, цикады, ветер.

Полуденное солнце не знало жалости. Вдали бухали пушки. Фернандо лежал, опершись головой о камень. Он задумчиво улыбался. Не будь пятна на синей блузе и легкой мути глаз, можно было бы подумать, что он загляделся на редкие тонкие облака, которые стремительно пробежали по небу. Вокруг его широко раскрытых глаз летали бабочки, сонные и тяжелые.

Вечером люди в синих блузах заняли перевал Альто де Леон.

ЧИТАТЕЛЬ!

*Сообщите свой отзыв об этой книге;
указав свой возраст и профессию по
адресу*

*Государственное издательство
«Художественная литература»
Массовый сектор*

- Москва, Центр, ул. 25 Октября, 10/2
(бывш. Никольская)*

Редактор *П. Лях.*
Технический редактор *А. Цыппо*
Корректор *Т. Троицкая*

Гослитиздат № 87.

Уполномоченный Главлита Б — 15969.
Тираж 10 000. X-11. Э77. Сдано в на-
бор 9/III 1937 г. Подписано к печати
11/IV 1937 г. Бумага 62×94¹/₃₂. 2⁵/₈ п. л
Уч.-авторских лис. 2,4. Авт. лис. 1,8
Типогр. знаков на 1 печ. л. 30720
Отпечатано на бумаге Красновишерс-
кого бумкомбината им. Менжинского,
Зак. типографии № 75. Цена 1 руб.,
переплет 75 коп.

О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
42	2 св.	но	он
44	1 св.	рим	Рим
73	8 сн.	туско	тускло

Эренбург — „Вне перемирия“.